УСТА И МАРЬЯМ

роман в двух книгах с эпилогом

Махачкала, 2026 — Гуниб, 1859

18+

Алекс Давыдов

Уста и Марьям

«Автор»
2026

Давыдов А.

Уста и Марьям / А. Давыдов — «Автор», 2026

В Махачкалу приезжает иностранец в сером пальто, с чёрным пуделем и свитой. На Родопском бульваре он объясняет редактору толстого журнала, что тому отрежут голову завтра в одиннадцать сорок, и называет причину: масло, разлитое час назад у ворот Второго рынка.Через сутки во Дворце торжеств раздают сертификаты на квартиры, которых по решению суда не существует. К полуночи у четырёхсот женщин исчезает золото, сданное в обмен на новое, и заявления у них не примут: чеков нет, мать подарила в восемьдесят девятом.А в клинике под Тарки-Тау лежит человек, сжёгший в мангале роман о двадцать пятом августа 1859 года — о дне, когда князь Барятинский взял Гуниб и не сдержал слова, данного имаму Шамилю. Его женщина ищет его полгода. В окошке у неё спрашивают, кем она ему приходится, и ответить нечего.Роман о городе, где земельный вопрос испортил всех, а свет дают по графику.

© Давыдов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 5
ОГЛАВЛЕНИЕ 6
КНИГА ПЕРВАЯ 6
КНИГА ВТОРАЯ 7
Эпилог 8
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 9
Свита 9
Махачкала, 2026 10
Гуниб, 1859 11
КНИГА ПЕРВАЯ 12
Глава 1. Никогда не разговаривайте с приезжими 12
Глава 2. Гуниб 18
Глава 3. Седьмое доказательство 23
Глава 4. Погоня 28
Глава 5. Что было в «Урбече» 32
Глава 6. Шизофрения, как и было сказано 37
Глава 7. Нехорошая квартира 42
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Уста и Марьям

Глава

УСТА И МАРЬЯМ
Каспийская редакция
Роман в двух книгах с эпилогом

— Ты обещал.
— Обещал.
— Когда?
— Через год.
из романа «Через год», глава четвёртая

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Никогда не разговаривайте с приезжими
2. Гуниб
3. Седьмое доказательство
4. Погоня
5. Что было в «Урбече»
6. Шизофрения, как и было сказано
7. Нехорошая квартира
8. Поединок между профессором и поэтом
9. Проделки Босаева
10. Вести из Бежты
11. Раздвоение Мурада
12. Программа «Свой дом»
13. Явление героя
14. Слава петуху!
15. Сон Босаева
16. Казнь
17. Беспокойный день
18. Неудачливые визитёры

КНИГА ВТОРАЯ

19. Маргарита
20. Крем Азазелло
21. Полёт
22. При свечах
23. Свадьба на тысячу гостей
24. Извлечение Мастера
25. Как князь пытался спасти изменника
26. Погребение
27. Конец квартиры на Урадинского
28. Последние похождения Курбана и Бегемота
29. Судьба Мастера и Маргариты определена
30. Пора! Пора!
31. На Тарки-Тау
32. Прощение и вечный приют

Эпилог

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Свита

Валанд — консультант по устойчивому развитию территорий, прибывший по приглашению форума «Каспий — море возможностей». Правый глаз чёрный, левый зелёный. Трость с набалдашником в виде головы пуделя. Левое колено болит с двадцать пятого августа тысяча восемьсот пятьдесят девятого года.

Курбан-Фагот — переводчик при иностранном специалисте. Клетчатый пиджак, жокейская кепочка, треснувшее пенсне. В прежней жизни толмач, неудачно пошутивший при заключении мира.

Бегемот — чёрный пудель, он же кот. Играет в нарды, ловит выскочившие кости и кладёт обратно «как выпало». Починяет примус.

Азазелло — рыжий, коренастый, бельмо и клык, уши борца-вольника. Носит крем в баночке из-под урбеча. Никогда ничего не обещает.

Гелла — рыжая, багровый рубец наискось по шее. В горы не летает никогда.

Абадонна — в тёмных очках. Одинаково смотрит на тех, кто стрелял, и на тех, в кого стреляли.

Махачкала, 2026

Ахмед Шапиевич Курбанов — председатель правления ДАГЛИТа, редактор журнала «Каспий», депутат. Погиб у ворот Второго рынка в одиннадцать сорок.

Мурад Шамильевич Батыров — поэт под псевдонимом Безземельный. Дед под номером тридцать восемь в списке от тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года.

Мастер — бывший научный сотрудник Института истории. Продал восемь соток деда в Тарках, чтобы написать роман о человеке, потерявшем землю. Мариям звала его «уста».

Мариям — дочь имама сельской мечети из-под Гергебиля. Одиннадцать лет в Москве, четыре года на набережной. По документам Мастеру никто.

Заур — её муж, застройщик. Хороший человек, и в этом беда.

Написат — домработница, восемнадцать лет, руки как у бабушки.

Сиражутдин Багандов — директор Дворца торжеств «Шамхал». Проснулся в Бежте в одном носке.

Рамазан Ильясович Ильясов — финансовый директор, тридцать один год и две бухгалтерии. Улетел в восемь ноль пять.

Варисов — администратор. Лишён права врать по телефону.

Джабраил Шахбанов — главный тамада республики. Плачет на третьем тосте.

Нажмудин Босаев — директор ООО «Каспий-Сервис», одиннадцать домов. Не переносит слова «компот».

Сааду Джамалович — буфетчик. Хинкал второй свежести. Умер в мае.

Сапият Гусейновна Магомедова — главный бухгалтер. Девятнадцать лет без взысканий.

Абдулхалик Абдулхаликович (Халик) — директор ресторана «Урбеч». Смотрит не на то, что будет, а на то, кто вошёл.

Айгуми — единственный переводчик со всех языков республики. Восстанавливает сгоревший список по памяти.

Мурсалов — секретарь правления. Знает, кому звонить.

Латипов, Ариманов, Лаврищев — критики.

Алибек Могарычев — риелтор. «Мне очень понравился подвал».

Профессор Расул Магомедович Даудов — психиатр. Выходит к больным без халата.

Николай Иванович Сулейманов — заместитель начальника управления. Справки так и не получил.

Магомед-Расул Майгелов — руководитель отдела протокола. Бескорыстен.

Фарида — из горного села. Восемьдесят девятый год, девятнадцать лет, платок.

Гуниб, 1859

Князь Александр Иванович Барятинский — главнокомандующий Кавказской армией. Подагра. Обещал под навесом в половине девятого утра.

Имам Шамиль — шестьдесят два года, девятнадцать ран. «Когда я увидел, что мой народ ест траву, я понял, что моя борьба окончена».

Юнус из Чиркея — мюрид-писец. Девять лет свитка, тридцать лет бумаги, одна приписанная строка.

Полковник Аполлон Руновский — делопроизводитель.

Генерал Милютин — начальник штаба.

Даниял-бек Элисуйский — прощён вместо.

Юсуф-хаджи — показал тропу на южную стену.

Хаджимурад — шестнадцать лет в мае.

Барс — пёс.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1. Никогда не разговаривайте с приезжими

В час небывало душного заката, когда солнце, обварив город сверху донизу, заваливалось за Тарки-Тау и гора стояла чёрная, как остывший казан, на Родопском бульваре появились двое.

Первый — лет пятидесяти пяти, плотный, невысокий, с той особенной гладкостью лица, какая бывает у людей, которых давно никто не перебивал. Одет он был в льняную рубашку навыпуск, брюки с безупречной стрелкой и сандалии, стоившие как месяц работы того человека, который эти сандалии ему пробил на кассе. Приличную шляпу он нёс в руке, потому что в шляпе на бульваре его могли не узнать, а он привык, чтобы узнавали. Звали его Ахмед Шапиевич Курбанов, был он председателем правления ДАГЛИТа, главным редактором толстого журнала «Каспий», депутатом одного собрания и членом четырёх советов, из которых три существовали только в отчётах.

Второй — узкоплечий парень лет двадцати восьми в чёрной футболке с надписью, которую Ахмед Шапиевич принципиально не читал, в широких штанах и белых кроссовках, побелевших до состояния, требующего ежевечернего подвига. На голове у него сидела кепка козырьком назад, а под кепкой помещался поэт Мурад Батыров, печатавшийся под псевдонимом Безземельный.

Первое, что было странно в этом вечере: бульвар был пуст.

Пуст был Родопский бульвар в августе, в восемь вечера, при живом море за железной дорогой. Не сидели на скамейках старики в кепках-аэродромах, не катились коляски, не орал прокатный электромобиль, не стояла тётка с варёной кукурузой, не бегали дети вокруг могилы Сулеймана Стальского. Аттракционы стояли мёртво. Гирлянда над аллеей не горела: с шести часов в Кировском районе не было света, и город гудел на сто голосов дизельными генераторами, как огромный, недовольный, но привычный ко всему улей.

Пахло морем, мазутом, раскалённым бетоном и почему-то жареным луком, хотя ни одного заведения поблизости не работало.

Двое дошли до киоска.

— Воды дайте, — сказал Ахмед Шапиевич, вытирая шею платком.

— Воды нет, — ответила женщина в киоске, не отрываясь от телефона, экран которого светился единственным светом на всём бульваре.

— Как нет?

— Так нет.

— А что есть?

— Тархун есть.

— Холодный?

Женщина подняла на него глаза, полные того великого спокойствия, какое даёт человеку четвёртый час без электричества.

— Света нет с шести. Откуда холодный?

Взяли тархун. Тёплый тархун, налитый в стаканы, дал пышную зелёную пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились переводом (терминал не работал, но у женщины был номер) и сели на скамью лицом к морю, которого из-за железнодорожной насыпи всё равно не было видно, а спиной — к аллее.

Тут и произошла вторая странность, касавшаяся одного Ахмеда Шапиевича. Он вдруг перестал икать, сердце его стукнуло и провалилось куда-то вниз, потом вернулось, но с тупой

иглой внутри, и Ахмеда Шапиевича охватил ужас настолько беспричинный, что ему захотелось встать и, не оборачиваясь, бежать по бульвару к улице Буйнакского, к людям, к огням, которых не было.

Он оглянулся, бледнея, и не понял, что его напугало. Аллея была пуста. Только далеко, у аварского театра, на секунду качнулась какая-то тень, вытянулась поперёк дорожки во всю её ширину и пропала.

«Что это со мной? — подумал Ахмед Шапиевич. — Давление. Надо в Кисловодск. Или в Каспийск, на процедуры».

И, чтобы прогнать наваждение, он вернулся к разговору, ради которого, собственно, и вызвал молодого человека на бульвар.

А разговор был о поэме.

Дело в том, что Ахмед Шапиевич заказал поэту Безземельному большую поэму для сентябрьского номера, в новую рубрику «Мифы, которые нам мешают». Поэма должна была разоблачить имама Шамиля — не как человека, разумеется, а как конструкт: показать, что никакого имама, каким его лепят экскурсоводы, туроператоры и авторы постов с барабанным боем, никогда не существовало, что всё это позднейшая сборка из чужих мемуаров, картин и коммерческого интереса.

Мурад работу сдал в срок. Восемьсот строк. И вот теперь Ахмед Шапиевич объяснял ему, почему всё придётся переписывать.

— Ты пойми, — говорил он, помахивая шляпой, — я тебя не ругаю. Технически сильно. Ритм есть. Образ есть. В том-то и беда, дорогой, что образ есть. Ты его так написал, что читатель закрывает журнал и идёт покупать папаху.

— Так он же там проигрывает, — сказал Мурад.

— Он у тебя проигрывает красиво! — Ахмед Шапиевич поднял палец. — А надо было доказать, что его не было.

— Как не было? — Мурад даже кепку поправил. — Гуниб есть. Могила в Медине есть. Письма есть.

Ахмед Шапиевич улыбнулся снисходительно, и по этой улыбке было видно, что человек он образованный и умеет сослаться.

— Письма. Хорошо. Чьи письма, дорогой? Переписка с князем публиковалась через двадцать лет после событий, в петербургском журнале, с чужих переводов с арабского. Мемуары пристава Руновского — служебная литература, написанная человеком, который получал жалованье за то, чтобы пленник выглядел довольным. «Наполеон Кавказа» — это вообще газетное клише той эпохи, его лепили на всех подряд. Картина Кившенко, где имам стоит перед князем, писана в тысяча восемьсот восьмидесятом, через двадцать один год после, с натурщиков, в мастерской, в Петербурге. Ты понимаешь? Художник не был на Гунибе. Он был в мастерской.

— Ну и что.

— А то, что образ, который ты воспел, собран в мастерской. — Ахмед Шапиевич был доволен фразой и слегка её повторил: — Собран в мастерской, а продаётся у нас в горах, по девять тысяч с человека, включая обед и остановку у водопада. Вот и вся твоя двадцатипятилетняя война.

— А те, кто на Гунибе лежит?

— Люди лежат, — согласился Ахмед Шапиевич. — Люди всегда лежат. А имама не было. Был процесс. Социально-экономический процесс, который потом обвешали бородой и папахой, чтобы удобнее было продавать. Пиши процесс. Процесс — это современно.

И икота, оставившая было Ахмеда Шапиевича, вернулась, и он опять поперхнулся тёплым тархуном.

Именно в эту минуту с аллеи к ним подошёл человек.

Впоследствии, когда, откровенно сказать, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в одной сказано, что гражданин был высокого роста, коронки золотые, хромал на правую ногу. В другой — что роста среднего, зубы обыкновенные, не хромал вовсе, а имел при себе собаку. В третьей лаконически сообщается, что примет не имел.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Не хромал он ни на какую ногу, и роста был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером пальто. В августе. В Махачкале. В восемь вечера, при тридцати одном градусе и влажности такой, что рубашка на Ахмеде Шапиевиче прилипла к скамейке.

Серый берет он лихо заломил на ухо; под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой.

А на поводке у него шёл чёрный пудель размером с годовалого телёнка, стриженный по всем правилам, с помпоном на хвосте, и шёл этот пудель не как собака, а как человек, которого выгуливают из вежливости.

Словом — приезжий.

Мурад определил его сразу и безошибочно: турист. Но что-то не сходилось. Туристы в Махачкале ходят стадами по восемь, в белых панамах, с бутылкой воды и гидом, который в микрофон рассказывает про гостеприимство. А этот шёл один и явно знал, куда идёт.

Приезжий обвёл взглядом дома, тянувшиеся вдоль бульвара, и заметно было, что видит он это место впервые и что оно его занимает.

Он остановил взор на верхних этажах, где ослепительно отражалось в окнах то, чего давно уже не было на небе, потом перевёл глаза вниз, где стёкла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Простите мою назойливость, — заговорил он с акцентом, но не коверкая слов, — но я слышал ваш разговор. Предмет до того интересен, что я осмелюсь... Разрешите присесть?

Литераторы удивились, но подвинулись.

Иностранец сел на край скамьи, пудель лёг ему на ноги и закрыл глаза с видом существа, которое всё это уже слышало.

— Если я не ослышался, вы изволили говорить, что имама Шамиля не существовало? — спросил иностранец, обращая к Ахмеду Шапиевичу свой левый зелёный глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Ахмед Шапиевич, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«Какого чёрта ему надо?» — подумал Мурад и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился незнакомец, повернувшись вправо к Мураду.

— На все сто! — подтвердил тот, любивший выражаться вычурно и образно.

— Изумительно! — вскричал непрошеный собеседник и, почему-то воровато оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, ещё и не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись, ответил Ахмед Шапиевич. — Но об этом можно говорить совершенно сво...

Он не договорил. Он оглянулся.

Он оглянулся на пустую аллею, на тёмные окна, на далёкий силуэт минарета за крышами, откуда через сорок минут пойдёт вечерний азан, и на секунду ему стало так неуютно, как не было с девяностых.

— Мы люди светские, — поправился Ахмед Шапиевич другим, более круглым голосом. — Мы уважаем чувства верующих. У нас в республике, вы знаете, традиции. Просто мы стоим на научных позициях.

— Ах, как славно, — сказал иностранец с непонятным удовольствием.

— В нашей стране это никого не удивляет, — дипломатично добавил Ахмед Шапиевич. — Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумлённому редактору руку, произнеся при этом слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Безземельный.

— За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвёл глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не турист, — подумал Мурад. — Он консультант. Их сюда возят пачками. Форум какой-нибудь. "Каспий — море возможностей"».

— Но позвольте вас спросить, — заговорил гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы, — с сожалением ответил Ахмед Шапиевич, — ни одно из них ничего не стоит. Кант разнёс их все и сам же соорудил шестое.

— Кант! — воскликнул иностранец. — Вот именно. Он-то и сказал, что доказать это нельзя, и тут же придумал доказательство. Забавный старик.

— Взять бы этого Канта, — неожиданно сказал Мурад, — да за такие доказательства года на два. На кирпичный завод. В Шамхал. Пусть бы поработал на солнце, доказал бы что-нибудь полезное.

— Мурад! — сконфуженно шепнул Ахмед Шапиевич.

Но предложение отправить Канта на кирпичный завод не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

— Именно, именно, — закричал он, и левый зелёный глаз его, обращённый к редактору, засверкал. — Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали». Но, знаете, было уже поздно, и завтрак остывал.

Ахмед Шапиевич выпучил глаза. «За завтраком... Канту... Что он плетёт?»

— Впрочем, — продолжал иностранец, не замечая оторопи редактора и обращаясь к поэту, — отправить его невозможно по той причине, что он уже сто с лишним лет как находится в местах значительно более отдалённых, чем Шамхал, и извлечь его оттуда никак нельзя, уверяю вас.

— А жалко! — отозвался задира-поэт.

— И мне жалко, — подтвердил незнакомец, сверкнув глазом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: если Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Мурад.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как может управлять человек, если он не только лишён возможности составить

какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?

Он повернулся к Ахмеду Шапиевичу.

— Вот, например, — сказал он, — у вас в городе есть замечательная вещь. Стратегия развития до две тысячи тридцать шестого года. Я читал. Прекрасный документ. Там написано, сколько будет гостиниц, сколько мест в школах, сколько кубометров воды. А света у вас нет с шести часов.

— Это авария, — сухо сказал Ахмед Шапиевич. — Перегрузка сетей. Жара, все включили кондиционеры.

— Разумеется, авария, — согласился иностранец. — Всегда авария. И заметьте, никто ведь не может сказать, что он будет делать сегодня вечером.

— Ну, это уж преувеличение, — сказал Ахмед Шапиевич. — Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что если на проспекте Гамзатова мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрёте другой смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Ахмед Шапиевич, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. — И скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Ахмеда Шапиевича взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде «раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...», а потом громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!

Мурад дико и злобно вытаращил глаза, а Ахмед Шапиевич спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?

— Нет, — ответил собеседник, — водитель самосвала.

— Кхм... — сказал Ахмед Шапиевич, раздражённый нелепой выходкой. — Ну, это, извините, маловероятно.

— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Молодой человек, двадцать три года, из Ботлихского района, работает третий месяц. Возит морской песок, который берут там, где брать нельзя. Права получил во вторник. Хороший, кстати, парень. Мать у него болеет.

— Это неостроумно, — сказал Ахмед Шапиевич. — И, простите, бестактно.

— Это не остроумно и не бестактно, — сказал иностранец. — Это в одиннадцать сорок, у ворот Второго рынка, где кончается асфальт и начинается плитка. Он не виноват. Он затормозит. Но там будет масло.

— Какое масло? — грубо спросил Мурад.

— Подсолнечное, — с готовностью ответил незнакомец. — Пять литров, в пластиковой бутыли. Аминат с пятого этажа несла домой и уронила. И не просто уронила — разлила. Час назад. Пока мы тут пили этот прекрасный тёплый тархун.

Наступило молчание.

Где-то далеко, за железной дорогой, прошёл товарный состав, длинно и тупо простучал по стыкам, и от этого стука бульвар показался ещё пустее.

Ахмед Шапиевич посмотрел на иностранца в упор и сказал уже без всякой иронии, тем ровным голосом, каким разговаривал на заседаниях, когда решал, кого не печатать:

— Простите, вы сейчас в Махачкале по какому вопросу?

— Я специалист, — охотно ответил иностранец. — Меня пригласили. У вас тут форум. Кроме того, здесь нашли рукописи. Подлинные рукописи девятнадцатого века. Я, видите ли, консультант.

— Вы историк? — спросил Ахмед Шапиевич с облегчением.

— Я историк, — подтвердил учёный и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на бульваре будет интересная история.

— И надолго вы к нам? — вежливо, но уже вставая, спросил Ахмед Шапиевич.

Иностранец не ответил на этот вопрос. Он смотрел куда-то поверх крыш, туда, где в темнеющем небе едва угадывалась чёрная спина Тарки-Тау, и лицо его вдруг стало таким, что оба литератора одновременно и по разным причинам почувствовали холод под ложечкой в тридцать один градус жары.

— Так вы, значит, утверждаете, — сказал он тихо, — что имама не было. Что был процесс. Что бороду и папаху навесили потом, для продажи.

— Я утверждаю, что критический анализ источников... — начал Ахмед Шапиевич.

— Двадцать пятого августа тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, — перебил иностранец, — около полудня, на верхнем Гунибе, среди камней, где нет ни одного дерева, кроме берёзовой рощицы на склоне, стоял человек шестидесяти двух лет, в белой чалме, с девятнадцатью ранами на теле, и решал, выходить ли ему к князю. Князь сидел на камне и не мог встать, потому что у него была подагра, и он больше всего на свете боялся, что это заметят. Их разделяло сто пятьдесят шагов. И оба знали, что через эти сто пятьдесят шагов кончается двадцатипятилетняя война.

Он помолчал.

— Роща там и сейчас стоит, — добавил он. — Только теперь под ней ставят машины.

Мурад тихо, одними губами, сказал нехорошее слово.

— Красиво излагаете, — Ахмед Шапиевич надел шляпу. — У вас талант. Вам бы к нам в журнал. Но, к сожалению, всё это литература. Вы там не были.

— Дело в том, — ответил иностранец и посмотрел на него обоими глазами сразу, — что я там был.

И, увидев, как оба литератора окаменели, прибавил очень просто, почти извиняясь:

— Я лично при этом присутствовал. И на Гунибе, и потом, в Чугуеве, когда государь его обнимал, и в Калуге, где он девять лет ждал разрешения на хадж, которое ему обещали в первый же день и всё забывали дать. Я, знаете ли, вообще много где присутствовал. Такая работа.

Пудель у его ног открыл глаза.

Глаза у пуделя были жёлтые, круглые и совершенно человеческие, и смотрел он не на хозяина, а на Ахмеда Шапиевича — внимательно, сверху вниз, как смотрят на человека, о котором уже всё известно.

Ахмед Шапиевич пошарил в кармане, нащупал телефон, отвернулся и быстро пошёл по аллее к выходу на проспект — туда, где сквозь темноту уже пробивался свет фар и жёлтый огонь единственной работающей шаурмичной с генератором.

Он шёл и думал, что надо срочно позвонить.

И ещё он думал — с той стремительной, отчаянной ясностью, какая приходит к человеку за минуту до того, как всё кончится, — что до Второго рынка отсюда двадцать минут пешком, а сейчас без четверти девять, и, значит, до одиннадцати сорока ещё почти пятнадцать часов, и, значит, всё это чушь, и, значит, бояться совершенно нечего.

Это была последняя разумная мысль Ахмеда Шапиевича Курбанова.

Глава 2. Гуниб

В белом кителе с алой подкладкой, волоча левую ногу, ранним утром двадцать пятого числа летнего месяца августа тысяча восемьсот пятьдесят девятого года вышел под навес перед палаткой главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант князь Александр Иванович Барятинский.

Более всего на свете князь ненавидел запах полыни.

Полынью пахло всё: камни, сапоги, вода в кувшине, шинель денщика, письма из Петербурга, лежавшие в кожаной папке нераспечатанными вторые сутки. Полынь пробивалась даже сквозь дым от кизяка, на котором солдаты варили кашу внизу, у ручья, и князю казалось, что этот сухой, серый, вечный запах есть запах самой этой страны — терпеливый, горький и совершенно равнодушный к тому, кто её сегодня возьмёт.

Ему было сорок четыре года. Левое колено с ночи налилось так, что сапог пришлось разрезать, и теперь нога была замотана и лежала на низком раскладном табурете, а сам князь сидел прямо, потому что стоило чуть согнуться — и боль поднималась от колена к паху и вставала в горле, как рвота.

Он смотрел прямо перед собой, на ту сторону.

Через долину, за глубоким провалом, где Каракойсу шумела так далеко внизу, что звука не было слышно, поднималась гора.

Гуниб.

Она поднималась не как гора, а как крепость, которую кто-то нечеловечески большой поставил здесь и обошёл кругом, обтесав стены. Отвесные, желтоватые, в утреннем свете почти розовые, они шли на сотни саженей вверх и обрывались наверху ровным зелёным краем, и там, наверху, было плато — луга, поле, вода, аул и берёзовая роща, которой неоткуда было взяться в этих местах и которая всё-таки была.

На плато сидел человек с четырьмястами мюридами.

Двадцать пять лет.

Князь достал часы. Половина шестого.

— Барс, — сказал он не оборачиваясь.

Из палатки вышел, потягиваясь, огромный кавказский пёс с обрубленными ушами, подошёл, лёг рядом с табуретом и положил морду на здоровый сапог князя. Барс был единственным существом в лагере, которому позволялось видеть князя, когда тот морщится.

Полог откинулся. Вышел начальник штаба, генерал Милютин, — в очках, застёгнутый на все пуговицы в шестом часу утра, с папкой под мышкой и с тем видом человека, который спал четыре часа и считает, что этого достаточно.

— Доброе утро, ваше сиятельство.

— Оно не доброе, — сказал князь. — Оно двадцать пятое.

Милютин это понял. Оба знали, что тридцатого августа, в день тезоименитства государя, князь должен торжественно въехать в Тифлис. Что подготовка идёт. Что заказаны молебен, иллюминация и обед на четыреста персон. Что телеграфные линии от Владикавказа проверены дважды. И что въезжать в Тифлис тридцатого числа без Шамиля — это не победа, а анекдот, который будут рассказывать в петербургских гостиных ещё лет двадцать.

— Апшеронцы на месте, — сказал Милютин. — Тропа проверена. Проводник ручается. Три роты поднимутся с южной стены до света, если прикажете сегодня в ночь.

— Проводник, — повторил князь. — Тот самый.

— Тот самый.

— Сколько он взял?

Милютин помолчал ровно столько, сколько нужно.

— Он взял не деньгами. Он взял чином и землёй по ту сторону хребта. Деньгами он тоже взял.

Князь ничего не сказал. Он смотрел на гору.

— Даниял-бек ходил вчера наверх, — продолжал Милютин. — Вернулся в первом часу ночи. Ждёт с четырёх утра.

— Пусть войдёт.

Даниял-бек вошёл — крупный, в русском мундире с генеральскими эполетами, которые ему вернули четыре месяца назад вместе с прощением, землями и правом отвечать «так точно». Двенадцать лет назад он ушёл к Шамилю из этого же мундира. Дочь его была замужем за сыном имама. Теперь он ходил парламентёром между тестем своей дочери и человеком, который писал приказ о его собственном повешении в сорок четвёртом году.

Он поклонился ниже, чем требовалось.

— Что он сказал? — спросил князь.

— Он сказал: пусть его отпустят с семьёй и с теми, кто захочет идти, в Мекку. Он больше не будет воевать. Он говорит: моя война окончена, я это знаю сам, мне не надо объяснять.

— Это я уже слышал шестого числа. Что он сказал сегодня?

Даниял-бек посмотрел в землю.

— Он сказал: я вижу, что ваш князь тянет время, потому что ему нужно, чтобы я вышел до тридцатого числа.

Милютин чуть двинул бровью. Князь усмехнулся углом рта — той самой кривой усмешкой, которую в Петербурге принимали за светскую любезность.

— Умный старик, — сказал он. — Приведите его.

— Куда, ваше сиятельство?

— Сюда. Ко мне. Без охраны — то есть с охраной, но чтобы он её не видел. И, Даниял-бек... — Князь повернул голову, и Даниял-бек впервые за всё утро посмотрел ему в лицо. — Скажите ему, что я его звал не как пленного. Пленных я не зову.

Через два часа, когда солнце уже стояло высоко и полынь пахла так, что у князя ломило переносицу, привели человека.

Он поднялся по тропе сам, отказавшись от лошади. Он был высок и очень худ. Ему шёл шестьдесят третий год. Белая чалма, зелёная черкеска, выцветшая на плечах добела. Борода крашеная, рыжеватая, и от этого лицо казалось моложе, чем следовало. Он шёл ровно, но на последних десяти шагах стало видно, что каждый шаг ему стоит отдельного решения.

Девятнадцать ран. Князь знал это число наизусть, потому что сам вписывал его в реляции.

— Садись, — сказал князь по-русски и указал на камень напротив.

Переводчик открыл рот. Пленный сел раньше, чем тот успел заговорить.

Некоторое время оба молчали. Барс поднял голову, посмотрел на пришедшего и снова положил морду на сапог.

— Ты понимаешь по-русски, — сказал князь. Это был не вопрос.

— Немного, — ответил Шамиль. — Мой сын понимал хорошо. Он вырос у вас.

Это было сказано без выражения, и именно поэтому князь почувствовал, как боль в колене на секунду стала белой.

Джамалуддин. Восьмилетний мальчик, отданный в аманаты в тридцать девятом. Кадетский корпус. Улан. Возвращён отцу в обмен на грузинских княгинь в пятьдесят пятом. Умер в горах в прошлом году, двадцати семи лет, от чахотки, не сумев больше стать ни тем, ни другим.

— Я знаю, — сказал князь.

— Знаете, — согласился Шамиль.

— Тебя обвиняют, — начал князь официальным голосом, — в том, что двадцать пять лет ты вёл войну против империи, разорял покорные аулы, казнил своих же по своему суду и держал в яме русских пленных. Что ты скажешь?

— Всё правда, — сказал Шамиль.

Переводчик испуганно перевёл. Милютин записал.

— И что при этом ты называл себя имамом, то есть властью от Бога, — продолжал князь, — тогда как всякий, кто берёт власть, берёт её от людей и оружием.

— И это правда, — сказал Шамиль. — Я брал её оружием. Но держал не оружием.

— А чем?

— Согласием. — Он подумал и добавил: — Пока люди согласны, тысяча человек держит гору. Когда согласия нет, гора пустая, хоть посади на неё сто тысяч.

Князь помолчал.

— И когда же согласия не стало?

— В апреле, — сказал Шамиль. — Я вышел утром и увидел, что мой народ ест траву. Тогда я понял, что моя война кончилась. Всё, что было после апреля, — это я тянул, потому что стыдно.

— Стыдно? — переспросил князь.

— Стыдно кончать войну, — объяснил Шамиль так, как объясняют ребёнку. — Начинать легко. Кончают всегда с позором, кто бы ни выиграл. Вы это тоже узнаете.

Милютин перестал писать.

— Осторожнее, — сказал князь ровно.

— Я не угрожаю вам, — сказал Шамиль. — Мне шестьдесят два года, и я сижу на камне у вашей палатки. Чем я вам угрожу? Я говорю то, что видел. Империи стоят, пока люди согласны. Ваша тоже стоит на этом, а не на пушках, хотя пушки у вас хорошие.

— Всякая власть от Бога, — сказал князь.

— Всякая власть — насилие, — сказал Шамиль. — И придёт время, когда её не будет вовсе, и человек перейдёт в царство истины и справедливости, где никакая власть не будет нужна.

Переводчик перевёл. Милютин снял очки и посмотрел на пленника с чем-то похожим на профессиональный интерес.

Тут произошло странное.

Из-под навеса вылетел стриж — маленький, чёрный, невозможно быстрый — и, прочертив дугу у самой земли, ушёл вверх, к отвесной жёлтой стене на той стороне долины.

И одновременно с этим князь понял, что боли в колене больше нет.

Она была — и её не стало. Ничего не сдвинулось, никто ничего не сделал, просто в мире стало одним предметом меньше. Князь осторожно, как вор, шевельнул ногой. Нога слушалась.

Он поднял глаза на пленника.

— Это не я, — сказал Шамиль, не дожидаясь вопроса. — Она вернётся. Просто вы перестали её сторожить. Вы всё утро сидите и думаете о ней больше, чем обо мне.

— А о чём мне думать?

— О том, что вы уже решили, — сказал Шамиль, — и не хотите себе в этом признаться.

Князь долго молчал.

Потом он сделал знак, и все, кроме переводчика, вышли — Милютин последним, аккуратно закрыв папку.

— Слушай, — сказал князь тихо. — Я дам тебе Мекку.

Шамиль поднял на него глаза. Глаза у него были светлые, воспалённые от солнца и совершенно спокойные.

— Я дам тебе выйти отсюда с семьёй, — говорил князь, наклонившись вперёд, и колено опять отозвалось, но он не заметил, — я дам конвой до Черноморского берега, судно, фирман,

письмо. Я обещал это шестого числа и повторяю сейчас, при свидетеле. Ты выйдешь сегодня, и через месяц ты будешь в Мекке, и там доживёшь. Мне не нужна твоя голова. Мне нужен конец войны.

— Хорошо, — сказал Шамиль. — Пишите.

И тогда князь понял, что он попался.

Потому что писать надо было в Петербург, а из Петербурга третьего дня пришла депеша, в которой государь, поздравляя заранее, выражал нетерпеливое желание видеть знаменитого пленника лично, и был назначен маршрут, и в Чугуеве на смотру уже готовили место, и в Москве уже написали, что старый Ермолов желает встретиться, и в Калуге уже подыскивали дом.

Живой Шамиль, увезённый на север и показанный публике, стоил империи дороже, чем мёртвый, и неизмеримо дороже, чем свободный. Свободный Шамиль в Мекке был не трофеем, а недоразумением. О нём нельзя было написать в газете ничего, кроме того, что его отпустили.

— Не сегодня, — сказал князь.

Шамиль кивнул. Он кивнул сразу, будто ждал этого слова с самого начала разговора и теперь просто получил подтверждение.

— Значит, никогда, — сказал он.

— Через год, — сказал князь. — Может быть, через два. Ты съездишь в Петербург, тебя примут с почётом, ты будешь жить как гость, а не как узник, я даю слово. А потом ты попросишь, и тебе разрешат, и я поддержу.

— Я поеду, — сказал Шамиль. — У меня нет выбора, и вы это знаете, и я знаю. Но не говорите «через год». Скажите: не знаю. Это будет правда, а правду легче нести.

— Я сказал: через год.

— Хорошо, — сказал Шамиль. — Через год.

Он посмотрел куда-то в сторону, на солдат, таскавших воду.

— Вам будет тяжело, — сказал он вдруг.

— Мне? — Князь усмехнулся. — Мне тридцатого въезжать в Тифлис.

— Вот и я говорю: тяжело.

Князь встал. Колено ударило снизу так, что в глазах поплыли жёлтые круги, но он устоял.

— Последнее, — сказал он. — С тобой наверху есть человек, который за тобой записывает.

— Юнус, — сказал Шамиль, и в первый раз за всё утро на лице его появилось что-то живое, похожее на досаду. — Он из Чиркея. Он ходит за мной со свитком и пишет.

— Что он пишет?

— Не знаю. Он мне читал один раз. Там всё неправильно. — Шамиль поморщился. — Там я говорю красиво. Я так не говорю. Я велел ему сжечь, а он не жжёт. Он говорит: сгорит бумага, останется то, что было. Он упрямый.

Князь смотрел на него.

— Пусть пишет, — сказал он наконец. — Пусть пишет как хочет. Всё равно потом напишут иначе.

Пленника увели.

Милютин вернулся под навес и, не садясь, положил перед князем лист.

— Ваше сиятельство. Ещё одно. По случаю окончания войны предполагается высочайшее милосердие. Один из бывших наибов будет прощён совершенно, с возвращением чинов, земель и права въезда в столицы. Мнение главнокомандующего испрашивается сегодня, чтобы успеть к тридцатому.

— Один, — сказал князь.

— Один.

Князь взял перо. Он держал его довольно долго.

Он думал о том, что имя, которое он сейчас напишет, будет напечатано во всех газетах, и что напротив этого имени встанет слово «прощён», и что рядом, ниже, в той же газете, другой человек, шестидесяти двух лет, поедет на север в закрытой коляске, под конвоем, к почётному дому в городе Калуге, которого он в глаза не видел, — и что оба эти решения примет он, князь Барятинский, сидя на раскладном табурете с разрезанным сапогом, в двухстах саженях от горы, которую он ещё не взял.

Он написал: «Даниял-бек Элисуйский».

И отдал лист, не глядя.

— В ночь, — сказал он. — Апшеронцам подниматься в ночь. Проводнику передайте, что я его помню. Милютин, вы поняли меня?

— Я вас понял, ваше сиятельство, — сказал Милютин.

В ту же ночь три роты Апшеронского полка, разувшись и обмотав тряпьём приклады, пошли по козьей тропе на южную стену Гуниба — там, где никто не поднимался и где потому не было караула.

Взошло солнце двадцать пятого августа.

Через пятнадцать часов после этого главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант князь Александр Иванович Барятинский, сидя в кресле, вынесенном под берёзы, на плато, в двухстах шагах от разбитого аула, принял оружие человека, с которым разговаривал утром.

Художник Кившенко напишет эту сцену через двадцать один год, в мастерской, в Петербурге, с натурщиков. На картине князь будет сидеть свободно и легко, положив ногу на ногу.

На самом деле он не мог согнуть левую ногу и весь этот час просидел, вытянув её перед собой, как палку, и больше всего на свете боялся, что кто-нибудь это заметит.

Телеграмма ушла в Петербург в ту же ночь: «Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию».

Тридцатого августа князь торжественно въехал в Тифлис. Была иллюминация. Обед на четыреста персон прошёл превосходно.

Разрешение на хадж имам Шамиль получил через десять лет.

Князя к тому времени уже не было на Кавказе, и подписывали разрешение совсем другие люди, и никто не вспомнил, что оно было обещано двадцать пятого августа тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, в половине девятого утра, под навесом, где пахло полынью.

Глава 3. Седьмое доказательство

— Да, было около десяти часов утра, досточтимый Ахмед Шапиевич, — сказал незнакомец.

Редактор очнулся, как человек, которого разбудили посреди фразы. Он обнаружил, что стоит посреди пустой аллеи, что уже совсем стемнело, что на бульваре по-прежнему нет ни одного фонаря и что он не помнит, чтобы вставал со скамейки.

Он не помнил и того, как рассказчик успел рассказать ему всё, что он теперь знал: и про полынь, и про разрезанный сапог, и про стрижа, и про то, как пленник сказал, что кончать войну всегда стыдно. Всё это стояло у него в голове целиком, готовое, будто он это когда-то читал.

— Простите, — сказал Ахмед Шапиевич хрипло, — вы... вы это откуда?

— Вы же сами говорили, что образ собирают в мастерской, — учтиво ответил иностранец. — Вот я вам и показал мастерскую.

Мурад Безземельный сидел на скамейке с открытым ртом и первый раз в жизни не находил рифмы.

— Всё это, конечно, изящно, — сказал Ахмед Шапиевич, овладевая собой и на всякий случай отступая на шаг, — но, вы уж извините, недоказуемо.

— О, — сказал иностранец с сожалением, — недоказуемо. Ни одно из шести доказательств не годится, вы совершенно правы, и Кант тут не помог. Но существует, знаете ли, седьмое доказательство. И оно, в отличие от прочих, никого никогда не оставляло равнодушным.

— И какое же?

— Самое надёжное, — сказал иностранец и посмотрел на часы. Часы были дорогие, но стрелки на них, как показалось Мураду, шли не туда. — Оно будет вам предъявлено завтра, в одиннадцать сорок. Вам не придётся никуда идти. Вернее, вам придётся пойти, но вы пойдёте сами, и никто вас не потащит. Это самое обидное во всей конструкции.

— Знаете что, — сказал Ахмед Шапиевич очень спокойно, тем голосом, которым выгоняют с летучки, — вы, я вижу, человек интересный. Но у нас в республике не любят, когда шутят про смерть. У нас это, знаете, не принято.

— У вас много чего не принято, — согласился иностранец. — А происходит всё равно.

Ахмед Шапиевич надел шляпу, кивнул и пошёл.

Он шёл быстро, а последние двадцать метров до выхода на проспект почти бежал, придерживая шляпу, и уже на ходу набирал номер.

Иностранец смотрел ему вслед.

— Слушайте, — сказал Мурад, вставая, — а мне вы тоже что-нибудь предскажете?

— Вам? — Иностранец повернул к нему зелёный глаз. — Вам предстоит поплавать. Полностью одетым.

— Это как?

— Прекрасно, — сказал иностранец. — В августе вода семнадцать градусов у берега. Освежает.

Пудель поднялся, отряхнулся и пошёл к аллее, и в темноте на секунду показалось, что идёт он на двух ногах, а потом опять на четырёх, и Мурад решил, что это тархун.

Ночь Ахмед Шапиевич провёл плохо.

Свет дали в двадцать три сорок, и весь дом на Ирчи Казака одновременно радостно завыл насосами, стиральными машинами и кондиционерами. Ахмед Шапиевич лежал в темноте под холодным потоком сплита и думал.

Он был человек трезвый и в чертовщину не верил ни секунды. Но он был человек и осторожный, а осторожность — это не вера, это дисциплина.

Поэтому в двенадцать ночи он сделал три вещи.

Во-первых, он отменил на завтра всё, что было связано с передвижением по городу.

Во-вторых, он позвонил знакомому в управление и спросил как бы между прочим, есть ли у них сводка по машинам, вывозящим морской песок с побережья, и нельзя ли на завтра усилить. Знакомый, разбуженный, ответил, что сводка есть, что песок возят все кому не лень, что усилить нельзя, потому что усиливать некем, и что до одиннадцати он вообще не человек.

В-третьих — и это его самого немного насмешило — он нашёл в телефоне председателя ТСЖ «Каспий-3», дома, который стоит боком к воротам Второго рынка, и позвонил.

— Нажмудин Расулович? Курбанов беспокоит. Извини за поздний. Слушай, у вас там у ворот, где плитка начинается, масло разлито. Растительное. Пять литров.

— Кто разлил? — спросил Босаев после паузы, полной сна и подозрения.

— Женщина у вас там, Аминат какая-то, с пятого.

— А-а. — Голос Босаева потеплел от узнавания. — Эта. Слушай, она в прошлом году бетон разлила. Не спрашивай.

— Убрать надо.

— Уберём, дорогой. С утра пришлю. Ты чего в час ночи-то про масло, а?

— Да так, — сказал Ахмед Шапиевич. — Скользко.

— Уберём, — сказал Босаев с той абсолютной, сияющей, ничем не омрачённой искренностью, с какой обещают всё, что стоит денег.

Масло не убрали.

Утром выяснилось, что дворников нет: у них третьи сутки не было воды в подсобке, потому что не работал насос, потому что не было света, а без воды смывать пять литров подсолнечного с плитки — всё равно что размазывать. Кто-то из жильцов бросил сверху ведро песка. Песок впитал верхний слой и превратил всё вместе в жирную серую кашу, которую к десяти утра растащили подошвами по десяти квадратным метрам подхода к воротам, и стало значительно хуже, чем было.

В девять сорок Ахмеду Шапиевичу позвонили с форума.

Приехал гость. Гость был не то чтобы очень большой, но из тех, чей приезд отменяет остальные планы: заместитель руководителя фонда, распределяющего то, чего в республике никогда не бывает достаточно, — деньги на культуру. Гостя надо было встретить, показать город и накормить.

— Я сегодня не могу, — сказал Ахмед Шапиевич. — У меня врач.

Ему объяснили, что гость специально спрашивал именно его, что он читал «Каспий», что он «очень уважает вашу школу» и что вечером гость улетает.

— Хорошо, — сказал Ахмед Шапиевич. — Ресторан на набережной. «Ветер». Я закажу.

Через двадцать минут перезвонили и сказали, что гость просит сначала на рынок.

— На какой рынок?

— На Второй. Говорит, ему рекомендовали. Говорит, видел ролик.

Ахмед Шапиевич закрыл глаза.

— Пусть на Первый, — сказал он. — На Первом всё то же самое.

— Ахмед Шапиевич, он видел ролик про Второй. Он там урбеч хочет. Он говорит — аутентика.

И тут Ахмед Шапиевич Курбанов, председатель правления ДАГЛИТа, редактор журнала «Каспий», депутат и член четырёх советов, из которых три существовали только в отчётах, понял одну простую вещь.

Он мог сказать «нет».

Он мог сказать: у меня давление, мне запретили выходить, извините. Гость бы обиделся. Обида стоила бы тысяч сорок из фонда, а может быть, и ничего бы не стоила.

Но он не мог сказать «нет», потому что гостю в этом городе не говорят «нет». Потому что гость приехал издалека и хочет посмотреть, как мы живём. Потому что не показать гостю рынок — это не отказ в услуге, это позор, о котором будут помнить дольше, чем о самом госте. Потому что двести лет уклада стояли за спиной и мягко, но неотвратимо подталкивали его в лопатки.

— Я подъеду, — сказал Ахмед Шапиевич.

В одиннадцать двадцать чёрный кроссовер остановился на Дзержинского, не доезжая ворот, потому что ближе стояли фуры, «газели», торговцы с тележками и жизнь.

Гость оказался приятным человеком лет пятидесяти, в очках, в мокрой на спине рубашке, и всё время говорил, что у них в Москве такого нет.

Пахло дынями, кинзой, сыром, курагой, бензином и морем.

Кричали.

Ахмед Шапиевич шёл впереди, ведя гостя мимо рядов, и всё было хорошо, и он даже успел подумать, что вчерашний иностранец, скорее всего, обыкновенный сумасшедший, каких на форумах бывает по три штуки на сессию, — как вдруг он услышал своё имя.

— Ахмед Шапиевич!!

Он обернулся.

Через дорогу, между двумя фурами, стоял Мурад Безземельный.

Мурад не спал ночь. Он не спал по причине, которую сам себе объяснял пятью разными способами и ни одним честно. В шесть утра он встал, в семь был у ворот рынка и с тех пор ходил вдоль ограды, чувствуя себя полным идиотом. К одиннадцати он почти успокоился и решил, что сейчас купит чуду и поедет домой спать.

И тут он увидел, как из кроссовера выходит Курбанов.

— Ахмед Шапиевич!! — заорал Мурад, кидаясь через дорогу. — Не ходите туда!! Там масло!!

Всё остальное заняло секунды четыре.

Ахмед Шапиевич обернулся на крик, увидел бегущего к нему через проезжую часть парня в чёрной футболке и, не понимая ещё ничего, кроме того, что парень бежит прямо под машины, сделал то единственное, что делает человек, когда на него бегут: инстинктивно шагнул назад.

Он шагнул назад с плитки на асфальт, левой ногой, в самую середину жирного серого пятна, которое к тому времени было идеально размазано на десяти квадратных метрах.

Нога ушла.

Он взмахнул руками, шляпа отлетела, и он сел, а потом лёг — очень нелепо, боком, поперёк выезда.

Самосвал шёл со стороны бетонного завода, гружёный морским песком под самый верх и ещё немного сверху. За рулём сидел парень двадцати трёх лет из Ботлихского района, работавший третий месяц. Он увидел человека на дороге метров за двадцать и сделал всё правильно: он ударил по тормозам изо всех сил.

И этим убил его.

Потому что колёса встали на масле.

Двадцать шесть тонн пошли юзом, ровно, беззвучно, почти торжественно, как большая лодка, отходящая от причала, — и, не задев лежащего человека вовсе, всей массой вошли в стоявшую у ворот «газель», с которой как раз сгружали листы профнастила для чьего-то забора.

Стопка листов, перетянутая одной ослабшей стропой, поехала.

Верхний лист — три метра длиной, оцинкованный, с ребром жёсткости по краю, острый, как бывает остра только дешёвая кровельная сталь, — сорвался, встал вертикально, прошёл по воздуху метра четыре и лёг.

Крик поднялся такой, какого рынок не слышал никогда.

Он был не сплошной, а слоями: сначала визг женщин у ближних прилавков, потом низкий рёв мужчин от фур, потом сирена чьей-то сработавшей сигнализации, потом — уже над всем этим — один отдельный, высокий, отчаянный женский голос, который выкрикивал что-то одно и то же, снова и снова, с балкона пятого этажа дома, стоящего боком к воротам:

— Растительное!! Пять литров!! Я говорила, уберите!! Я вчера говорила!!

Мурад стоял посреди улицы.

Он видел всё. Он видел даже то, чего видеть не мог, — например, что шляпа Ахмеда Шапиевича, отлетев, легла тульёй вниз и в неё сразу насыпался песок с самосвала.

Он не мог сдвинуться с места. Ноги были чужие.

Люди бежали. Кто-то накрывал курткой, кто-то орал в телефон, кто-то снимал. Уже через минуту у ворот стояло восемь человек с поднятыми телефонами, и через восемь минут это было во всех пабликах республики, и в комментариях уже писали, что власти довели, что песок возят незаконно, что дороги убитые, что а вы куда смотрели, — и никто, ни один человек из четырёхсот тысяч, посмотревших ролик в этот день, не написал главного.

А главное было простое.

Ахмеду Шапиевичу Курбанову отрезали голову в одиннадцать сорок.

Мурад посмотрел на телефон. На экране стояло: 11:41.

И тогда его повело.

Он повернулся кругом — медленно, как под водой, — и увидел ровно то, что должен был увидеть.

Метрах в тридцати, у прилавка с урбечом, спиной к катастрофе, стоял человек в дорогом сером пальто и разговаривал с продавщицей. Он держал в руке банку и рассматривал её на свет, наклоняя, как рассматривают вино.

Рядом сидел чёрный пудель.

— Э! — сказал Мурад. — Э!!!

Он рванулся туда, расталкивая людей, и налетел на кого-то, кого раньше здесь не было.

Перед ним стоял длинный, невероятно худой гражданин в клетчатом пиджаке не по сезону, в жокейской кепочке и треснувшем пенсне на одном стёклышке. Усишки у него были куриные, вид глумливый.

— Куда, дорогой? — спросил гражданин сочувственно. — Туда нельзя, там жарко.

— Кто это?! — задыхаясь, крикнул Мурад и ткнул пальцем в сторону пальто. — Кто он такой?!

— Это? — Клетчатый обернулся, посмотрел и снял кепочку. — Это консультант. Очень уважаемый специалист. По истории и смежным вопросам.

— Он знал!! Он вчера сказал!! Слово в слово!! И про масло, и про самосвал, и про время!!

— Ай-яй-яй, — сказал клетчатый и покачал головой. — Какое совпадение. Прямо мурашки.

— Это не совпадение!! Он его убил!!

— Ну, знаете, — обиженно сказал клетчатый и надел кепочку, — так каждого можно. Метеоролог тоже дождь предсказывает. Что ж его теперь, за наводнение сажать?

Он сказал это последнее слово, и Мурад посмотрел на него уже совсем дико.

— Ты кто? — тихо спросил Мурад.

— Я? Переводчик, — скромно сказал клетчатый. — При иностранце. Курбан меня зовут. — И, наклонившись к самому уху Мурада, доверительно прибавил: — Побежали бы вы за ним, молодой человек. Он в ту сторону пошёл. Через рынок, потом на Ирчи Казака, потом к морю. Если поторопитесь — застанете. А не поторопитесь — не застанете.

Мурад оглянулся.

Серого пальто у прилавка с урбечом не было. Была продавщица, была банка, поставленная обратно в ряд, и никого.

— Стоять!! — заорал Мурад и кинулся в толпу.

Так началась погоня.

Глава 4. Погоня

Рынок — плохое место для погони.

Мурад понял это на пятом шаге, когда его развернуло тележкой с дынями, а на седьмом он уже полз, согнувшись, под чьим-то навесом, между ящиками с абрикосом, и человек в резиновом фартуке кричал ему в спину слова, которых Мурад не заслужил.

Рынок жил своей жизнью, отделённой от смерти двадцатью метрами и жестяной стеной. Здесь ещё не знали. Здесь взвешивали брынзу.

Он вылетел с той стороны, на Ирчи Казака, где вдоль тротуара тянутся прилавки Восточного базара — специи, сухофрукты, чай, чётки, — и сразу увидел всех троих.

Они шли не спеша, метрах в сорока впереди, и не оглядывались.

Впереди — серое пальто. Рядом, приплясывая и что-то рассказывая, — клетчатый в жокейской кепочке. И третьим, чуть сзади, шёл чёрный пудель, ростом с телёнка, и нёс в зубах бумажный пакет.

— Стоять!!! — заорал Мурад.

Он заорал так, что на него обернулся весь ряд.

Никто из троих не обернулся.

Мурад побежал, и произошла вещь, которую он потом описывал следователю четыре раза и каждый раз путался.

Троица дошла до угла и там разделилась.

Серое пальто свернуло направо, в переулок, и переулок этот, когда Мурад добежал до угла, оказался пустым от начала до конца, а он был метров восемьдесят длиной, и деться там было некуда, потому что с обеих сторон шёл глухой профнастиловый забор.

Клетчатый пошёл прямо и, не доходя до перекрёстка, вошёл в подъезд девятиэтажки. Мурад видел это ясно.

А пудель остановился на краю тротуара, поднял морду и стал ждать.

К остановке подкатила маршрутка сотого маршрута.

И пудель, отставив пакет, поднялся на задние лапы, взялся передней за поручень и полез в салон.

— Э! Куда?! — сказал водитель, полуобернувшись. — С собаками нельзя!

Пудель молча протянул ему смятую полтинник.

Водитель взял.

Он взял её совершенно машинально, как берут двадцать раз в час, посмотрел на неё, потом на пассажира, потом опять на купюру, и было видно, как в течение примерно двух секунд в нём происходила огромная внутренняя работа, после которой он сказал:

— Проходи, не стой в проходе.

Дверь закрылась. Маршрутка ушла на Акушинского, увозя чёрного пуделя, который сидел на переднем сиденье прямо, как экзаменатор.

Женщина на остановке перекрестилась. Другая женщина на остановке сказала: «Астагфируллах». Третья сняла на телефон, но потом посмотрела запись, ничего там не увидела и удалила.

Мурад стоял на углу и понимал, что теряет их.

И тут в нём случилось то самое, что случается с людьми в такие минуты: он вдруг с полной, ослепительной ясностью сообразил, куда идти.

Клетчатый вошёл в подъезд. Значит, они там. Значит, они прячутся в квартире. Значит — и это было уже совсем очевидно, до смешного очевидно, — в квартире номер сорок семь, потому что Курбанову было сорок семь лет и он вчера сам это сказал.

Мурад никогда потом не мог объяснить, откуда взялось сорок семь.

Он влетел в подъезд. Лифт не работал — свет опять срезали. Он пошёл пешком, и на седьмом этаже, задыхаясь, нашёл дверь с криво привинченной цифрой.

Дверь была не заперта.

Он вошёл.

В прихожей пахло жареным луком и лаком для волос. На стене висел ковёр, на ковре — сувенирный кинжал в ножнах с бирюзой и рядом на крючке папаха, здоровенная, чёрная, из тех, что покупают гостям на память и которые потом висят годами. У самой двери, на гвоздике, — маленький кожаный тумар, треугольником, потемневший от рук.

Из ванной шёл шум воды.

— Магомед, это ты? — крикнул женский голос. — Хлеб взял?

— Где он?! — крикнул Мурад.

Дверь ванной приоткрылась. Оттуда, в халате, с полотенцем на голове и с зелёной маской на лице, выглянула женщина лет шестидесяти.

Она посмотрела на Мурада.

Мурад посмотрел на неё.

Она закричала.

Она закричала так, как кричат женщины в этом городе, когда им есть что сказать: длинно, изобретательно и на двух языках. Из кухни вышел парень лет девятнадцати с телефоном, оценил обстановку и, ни слова не говоря, начал снимать.

— Где иностранец?! — заорал Мурад. — В сером пальто! С собакой!

— Какая собака?! — кричала женщина. — Ты кто?! Я милицию!!

— Тут никого нет, брат, — сказал парень, не опуская телефона. — Ты этажом ошибся.

Мурад окинул взглядом квартиру, и внезапно ему стало ясно и другое: что квартира ни при чём, что они, конечно, ушли, что искать их надо не здесь, — но что голыми руками их брать нельзя.

Он сорвал с гвоздика тумар и надел на шею.

Он снял со стены кинжал.

И, подумав долю секунды, снял папаху.

— Верну, — сказал он твёрдо. — Клянусь.

И вышел.

Женщина осталась стоять с зелёным лицом. Парень опустил телефон и сказал в тишину:

— Мам. Это же Безземельный. Который на баттлах.

Через двадцать минут поэт Мурад Батыров, в чёрной футболке, широких штанах, папахе и с сувенирным кинжалом за поясом, стоял на Родопском бульваре и смотрел на железнодорожную насыпь.

Он был совершенно уверен — с той же нездешней, тяжёлой уверенностью, — что троица ушла к морю.

Он перелез через ограждение, пересёк пути там, где переходить нельзя и где переходят все, и спустился на пляж.

Море лежало плоское, серо-голубое, тяжёлое. Народу было немного: жара стояла такая, что даже местные ушли по домам до пяти. Метрах в двухстах компания жарила шашлык прямо на песке. Дальше стоял портовый кран, а ещё дальше, в дымке, — сухогруз на рейде.

Никого в сером пальто не было.

Мурад дошёл до самой воды.

И тут его накрыло.

Оно накрыло его не мыслью, а картинкой, и картинка была такая: Ахмед Шапиевич оборачивается на его крик, и в глазах у Ахмеда Шапиевича нет ничего, кроме нормального человеческого недоумения, и он делает шаг назад.

Шаг назад.

Потому что кто-то бежал на него и орал.

Мурад сел на песок.

Он сидел довольно долго, минуты три, а потом встал, снял папаху, положил её на песок вместе с кинжалом, аккуратно, рядом, поставил кроссовки — белые, за которые он бился каждый вечер щёткой и зубной пастой, — и пошёл в море.

Он вошёл в одежде, по колено, по пояс, а потом лёг лицом вниз и поплыл.

Вода была холоднее, чем должна быть в августе, — на глубине у берега бьют ключи, и в этом месте всегда семнадцать. Она вошла в уши, в нос, в футболку, и на секунду стало так хорошо и так пусто, что он подумал: вот и всё.

Он проплыл метров сто пятьдесят, лёг на спину и посмотрел в белое небо.

«Он же сказал, — подумал Мурад. — Вчера сказал. Поплавать полностью одетым. Он и это сказал».

Он вернулся к берегу и вышел.

Папаха лежала на месте. Кинжал лежал на месте.

Кроссовок не было.

Он постоял, глядя на две вмятины в песке, где они стояли. Потом посмотрел вдоль пляжа. Компания жарила шашлык и не смотрела в его сторону с такой демонстративностью, что всё было ясно.

Телефон в кармане штанов уже не включался. Экран мигнул один раз, показал каплю в объективе и умер.

Так поэт Мурад Батыров остался в городе Махачкале один: без телефона, без денег, без обуви, мокрый насквозь, с чужой папахой в руке и чужим сувенирным кинжалом, на котором было выбито «Дагестан».

К четырём часам он дошёл до площади.

Он шёл босиком по раскалённому тротуару короткими перебежками, от тени к тени, и люди на него оглядывались, но не так, как он ожидал. В этом городе видали всякое, и мокрый парень с папахой не тянул даже на новость дня — новостью дня было другое, и её обсуждали на каждом углу, и он трижды слышал слово «профнастил».

Он свернул к Джума-мечети, потому что решил, что искать надо там.

Логика была такая: если это шайтан, то он придёт туда, куда шайтану нельзя. Логика была дурная, но других у Мурада к этому часу не осталось.

Во дворе, в тени, было прохладно и очень тихо. Двое стариков сидели на скамейке. Молодой парень в белой рубашке подметал ступени.

Мурад остановился у ворот. Он вдруг увидел себя со стороны — мокрого, босого, с кинжалом за поясом — и понял, что дальше не пойдёт.

Парень с метлой посмотрел на него и подошёл.

— Салам, — сказал он.

— Ва алейкум салам, — сказал Мурад.

— Ты чего?

— Да так, — сказал Мурад. — Ищу человека.

Парень посмотрел на его босые ноги, на асфальт, на которым можно было жарить чуду, и ушёл. Через минуту он вернулся с бутылкой воды из холодильника и с парой резиновых сланцев сорок третьего размера.

— На. Другого нет.

— Мне не надо, — сказал Мурад.

— Надо, — сказал парень. — Асфальт шестьдесят градусов. Бери, потом занесёшь.

Мурад взял.

Он выпил всю бутылку в три приёма, стоя, и вода была такая холодная, что заломило лоб, и от этого он вдруг почти заплакал, чего с ним не бывало с двенадцати лет.

— Сегодня на Втором человека убило, — сказал парень, глядя в сторону. — Слышал?

— Слышал, — сказал Мурад.

— Начальник какой-то. Писатель, говорят.

— Редактор.

— Аллах рахмат этсин, — сказал парень. — Ты иди, брат. Иди домой, поспи. У тебя вид нехороший.

И тогда Мурад повернулся и пошёл — не домой, а туда, куда его несло с самого утра и куда он всё равно пришёл бы, даже если бы весь город лёг поперёк.

Он пошёл на улицу Буйнакского, в старый двухэтажный особняк с чугунными балконами, известный всей республике как Дом Асхабова, где помещался ДАГЛИТ и где в полуподвале работал ресторан «Урбеч».

Он шёл в сланцах на два размера больше, в мокрых штанах, с папахой под мышкой, и в голове у него билась одна-единственная фраза, которую надо было немедленно сказать всем.

Фраза была такая: «Он был при этом. Он всё видел. Он и сейчас здесь».

Часы на здании показывали без двадцати шесть.

В «Урбече» в это время как раз накрывали столы.

Глава 5. Что было в «Урбече»

Старинный двухэтажный дом на улице Буйнакского, с чугунными балконами и толстыми стенами, помнящими землетрясение семидесятого года, назывался Домом Асхабова.

Асхабов ли когда-нибудь в нём жил — вопрос тёмный. Одни говорили, что жил, другие — что Асхабов был не человек, а трест, третьи — что дом просто надо было как-то назвать, когда его в тридцатых передали писателям, и назвали в честь того, кто подписал бумагу.

Так или иначе, дом принадлежал ДАГЛИТу.

Всякий, кто входил в прохладный после уличного пекла вестибюль, прежде всего видел объявления на доске, а затем, поднимаясь по лестнице, — таблички на дверях, и по этим табличкам можно было изучить дагестанскую словесность лучше, чем по любому учебнику.

На первом этаже, слева:

«СЕКЦИЯ ПОДСТРОЧНИКОВ. Приём вторник, четверг, с 11 до 13. Пятница — нерабочий день»

Рядом:

«ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ с аварского, даргинского, кумыкского, лезгинского, лакского, табасаранского, ногайского, рутульского, агульского, цахурского. Переводчик один. Ждите»

Дальше по коридору:

«КОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ. Бюсты — второй этаж, комн. 24. Мемориальные доски — комн. 24. Присвоение имени улицам — приём заявок приостановлен: улицы закончились»

На повороте:

«ТВОРЧЕСКИЕ КОМАНДИРОВКИ. В горы — 3 суток. В Москву — 5 суток. В Стамбул — по согласованию с оргкомитетом»

И, наконец, в самом конце коридора, на двери, крашенной масляной краской в цвет, которому нет названия, висела табличка, стоившая всех остальных:

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. Список от 2019 г. Изменений нет. НЕ СТУЧАТЬ»

Именно в этот список, под номером сто девятнадцать, был вписан дед поэта Мурада Батырова. Не в две тысячи девятнадцатом, разумеется, — тот список был всего лишь последней перепиской предыдущего, а тот — предыдущего, и так до самого первого, где дед стоял тридцать восьмым и где напротив его фамилии стояла дата: 1957.

Отсюда и псевдоним.

Ниже, в полуподвале, куда вела отдельная лестница с улицы, помещался ресторан «Урбеч».

Про «Урбеч» знали все, и знали правильно.

Там подавали лучший в республике хинкал — аварский, даргинский и лакский, три школы под одной крышей, что само по себе было чудом дипломатии; там делали курзе с творогом и с крапивой; там пекли чуду, тонкое, как бумага, и подавали к нему густой матцони в глиняных мисках; там был чай с чабрецом, привозимым из-под Хунзаха человеком, которого никто никогда не видел.

И всё это стоило столько, сколько не стоило нигде в городе, — потому что здание было муниципальное, аренду ресторан не платил с девяносто четвёртого года, а на все вопросы о том, почему не платит, отвечал бумагой, которую никто ни разу не дочитал до конца.

Правил всем этим директор ресторана Абдулхалик Абдулхаликович, для своих — Халик.

Это был человек лет пятидесяти, чёрный, широкий, с бородой, подстриженной так коротко и ровно, что она казалась нарисованной. Он ходил между столами в чёрном костюме без галстука, ступая бесшумно, и, когда останавливался у стола и наклонял голову, гость чув-

ствовал, что ему оказана честь. Приезжие говорили, что Халик похож на портрет из музея — на одного из тех наибов в галунах, которых писали в шестидесятых годах девятнадцатого века, когда они уже перешли на службу и ещё не привыкли к этому.

Сходство было полное, включая выражение глаз.

В шесть часов вечера двадцать шестого августа в малом зале «Урбеча» сидели двенадцать человек.

Заседание правления ДАГЛИТа было назначено на шесть ещё неделю назад, повесткой значилось «О формировании делегации на международный форум "Каспий — море возможностей"», и никто его не отменил.

Отменять было некому. Отменял всегда Ахмед Шапиевич.

О том, что произошло в одиннадцать сорок у ворот Второго рынка, знали все и давно. Первое сообщение упало в общий чат правления в одиннадцать пятьдесят три. К половине первого в чате было двести сорок сообщений. К двум часам чат затих, и начались личные звонки.

Поэтому к шести вечера все двенадцать пришли уже подготовленными.

Сидели:

Загидов, автор поэмы «Единство», выдержавшей четыре издания, — в чёрной рубашке, с лицом человека, который скорбит профессионально и умеет держать это лицо часами.

Нафисат Гаджиевна Абакарова, писавшая морские романы под псевдонимом «Штурман Нафисат», ни разу в жизни не бывавшая на судне дальше прогулочного катера у маяка.

Драматург Шахмандаров, у которого одна и та же пьеса шла в трёх национальных театрах на трёх языках и в каждом считалась написанной специально для него.

Беллетрист Бесхлебников, восемнадцать книг, тираж последней — триста экземпляров, из которых сто пятьдесят он раздал сам.

Айгуми — тот самый единственный переводчик, седой, тихий, в очках с одной дужкой, работавший сорок лет и переведший больше, чем все остальные написали.

Секретарь правления Мурсалов, человек без свойств и без биографии, знавший, однако, кому звонить в любой ситуации, включая эту.

И ещё шестеро, которых можно не перечислять, потому что они и сами в этот вечер ощущали себя не вполне отдельными людьми.

На столе стояли чайники. Спиртного в «Урбече» не подавали никогда, и это придавало происходящему особую, сухую отчётливость.

— Ну что, — сказал Мурсалов. — Помянем.

Все встали.

Минута молчания длилась одиннадцать секунд.

На двенадцатой у Бесхлебникова в кармане заиграл рингтон — бодрая зурна, сорок секунд, с нарастанием, — и, пока он его выключал, все успели сесть.

— Такой человек, — сказал Загидов, садясь. — Такой человек.

— Ай, — сказала Штурман Нафисат. — Не могу.

— Он мне утром писал, — сказал Шахмандаров. — В девять сорок. Спрашивал, готов ли список.

Наступила пауза, в которой слово «список» повисло и стало медленно разбухать.

— Какой список? — спросил Загидов ровно.

— На форум.

— А, — сказал Загидов. — На форум.

— Там четырнадцать мест, — сказал Мурсалов, не поднимая глаз от чайника. — Из них четыре — Москва подтвердила, остальные наши.

— Мурсалов, — сказала Штурман Нафисат с укором. — Человек ещё не похоронен.

— Похоронят завтра до обеда, — сказал Мурсалов. — По обычаю. Я поэтому и говорю сейчас, что потом будет неудобно.

Против этого возразить было нечего, и все это понимали, и всем стало легче.

Через стену, из большого зала, ударила зурна.

Там начинался банкет: «Урбеч» держал два зала, и в большом по средам и субботам гуляли свадьбы. Сегодня была среда. Через стену пошло то плотное, счастливое, оглушительное веселье, которое в этом городе не отменяется ничем: барабан, зурна, крик тамады в микрофон, и уже через десять минут — топот, потому что пошла лезгинка.

Правление ДАГЛИТа скорбело под лезгинку.

— Надо решать по и. о., — негромко сказал Мурсалов.

— Мурсалов!

— Нафисат Гаджиевна, — сказал Мурсалов терпеливо, — если мы к завтрашнему дню не внесём фамилию, её внесут нам. И это будет не наша фамилия. Вы этого хотите?

Штурман Нафисат этого не хотела.

Никто этого не хотел.

И заседание пошло.

Оно шло тихо, вежливо и очень быстро — так, как идут только те заседания, к которым все подготовились заранее, в течение шести часов, по телефону. Обсуждали не кандидатуры, а расклады. Произносились слова «поймут наверху», «не поймут наверху», «а как на это посмотрят в министерстве», «надо, чтобы был компромисс по национальному признаку», и последнее произносилось чаще всего, потому что в правлении сидели представители пяти народов, и каждый знал арифметику наизусть.

Айгуми, единственный переводчик, не сказал за весь вечер ни слова. Он сидел, обхватив стакан обеими руками, и смотрел в стену.

Он думал о том, что Ахмед Шапиевич за двадцать лет ни разу не заплатил ему по договору вовремя и ни разу не забыл поздравить с днём рождения.

К половине седьмого сошлись на компромиссной фигуре. К без двадцати семь Мурсалов вышел в коридор звонить.

И вот тут, ровно в семь без пятнадцати, дверь малого зала распахнулась.

На пороге стоял человек.

Он был мокрый. Не потный — мокрый: с волос текло, футболка липла, штаны потемнели и обвисли, и на паркете за ним оставалась дорожка. На ногах у него были резиновые сланцы явно чужого размера. В левой руке он держал огромную чёрную папаху. На груди у него на шнурке висел кожаный тумар.

А за поясом торчал кинжал.

— Мурад? — сказал Бесхлебников.

— Слушайте меня, — сказал Мурад Батыров.

Он вошёл в зал, оставляя мокрые следы, и все двенадцать человек посмотрели на него, и в эту секунду зурна за стеной взяла особенно высоко.

— Слушайте меня внимательно, — сказал Мурад. — Ахмеда Шапиевича убил консультант.

— Мурад, сядь, — сказал Загидов мягко. — Тебе плохо. Ты выпил?

— Я не пью. Слушайте. Вчера вечером на Родопском бульваре был человек. Иностранец. В сером пальто. С пуделем. Он сказал: завтра в одиннадцать сорок вам отрежут голову. Он назвал время. Он назвал место. Он сказал про масло. Он назвал водителя — из Ботлихского района, права во вторник. Всё сошлось. Всё до последнего.

В зале стало очень тихо, насколько это было возможно при лезгинке.

— Он знал заранее, — сказал Мурад. — Понимаете? Не догадался. Знал.

— Так, — сказал Мурсалов, входя обратно и оценивая обстановку одним взглядом. — Мурад Батыров, да?

— Он ещё вчера рассказывал про Гуниб, — говорил Мурад, обращаясь уже ко всем сразу и не видя никого. — Про Барятинского. Про подагру. Про то, как тот сидел с разрезанным сапогом и боялся, что заметят. Про стрижа. Откуда он это знает?! Он говорит: я лично при этом присутствовал!

— Кто присутствовал? — спросила Штурман Нафисат.

— ОН! — заорал Мурад.

Он схватил со стола чайник и с размаху поставил обратно так, что чай выплеснулся на скатерть, и заорал уже совсем:

— Его надо ловить!! Сейчас!! Он в городе!! Он в отеле на Гамзатова!! Их четверо, у них рыжий с клыком, и кот, который ездит в сотой маршрутке!! Звоните куда надо, у вас у всех есть кому звонить!! Мурсалов, ты же всем звонишь, звони!!

— У него нож, — сказал кто-то очень тихо и очень отчётливо.

Это была ошибка.

Слово упало в зал, и зал мгновенно перестал быть залом писателей и стал тем, чем в такую минуту становится любое помещение с людьми: двенадцатью телами, из которых восемь встали, три отодвинулись к стене, а одно, принадлежавшее драматургу Шахмандарову, оказалось под столом с непонятной для его комплекции быстротой.

— Какой нож?! — крикнул Мурад. — Это сувенир!! Я его верну!!

Он выдернул кинжал из-за пояса, чтобы показать, что тот бутафорский, и не заточен, и вообще с бирюзой.

Хуже он придумать не мог.

Кто-то закричал. За стеной, наоборот, лезгинка пошла на второй круг, и с той стороны в стену радостно застучали, приняв шум за конкуренцию.

Из-за спин к Мураду шагнул человек лет тридцати двух, в светлом пиджаке, — поэт Рустам Ханмагомедов, писавший стихи ко всем государственным датам и потому имевший в республике устойчивое положение.

— Мурадик, — сказал он тем особым, тёплым, липким голосом, каким разговаривают с сумасшедшими и с очень пьяными. — Мурадик, брат. Давай сюда игрушку. Давай, дорогой. Мы всё поняли. Мы завтра всё сделаем. Мы позвоним. Дай сюда, а?

Мурад посмотрел на него.

Он посмотрел на светлый пиджак, на аккуратную бородку, на телефон в руке, которым Ханмагомедов уже, между делом, снимал, — и увидел вдруг всё сразу и очень ясно.

— Ты, — сказал Мурад. — Ты. Ты завтра напишешь стих на смерть Ахмеда Шапиевича. Восемь строф. С рефреном. И тебе за него дадут место в делегации.

Ханмагомедов побледнел, потому что первая строфа у него уже была.

— И ты будешь читать его в филармонии, — сказал Мурад, — и все будут кивать. Типичный грантоед.

И ударил его по лицу открытой ладонью.

Дальше пошло быстро и некрасиво.

Мурада взяли впятером. Он не сопротивлялся — он вырывался, что совсем не одно и то же: он рвался не от них, а к двери, и кричал уже без слов. Кинжал улетел под батарею. Папаха покатилась под стол, к Шахмандарову.

В дверях, заслонив проём, неслышно возник Абдулхалик Абдулхаликович.

Он постоял секунду, оценивая.

Потом сказал, не повышая голоса, и его услышали все:

— В большом зале свадьба. Двести человек. Если оттуда кто-нибудь сюда заглянет, я закрою оба зала до понедельника.

И все сразу стали тихими.

— Мурсалов, — сказал Халик. — Звони.

Мурсалов позвонил. Мурсалов всегда знал, кому звонить.

Скорая приехала через двадцать пять минут, что для Махачкалы было почти неприлично быстро, и приехала не одна, а вместе с полицейским экипажем, вызванным кем-то отдельно и уже написавшим в отчёте слово «холодное».

Мурада вывели через служебный ход, чтобы не мимо свадьбы.

Он шёл спокойно.

Он шёл спокойно потому, что за эти двадцать пять минут понял вещь, окончательно его успокоившую: объяснять бесполезно. Никто из них ни на секунду не задумался о том, откуда иностранец знал время. Их интересовало только одно — кто теперь будет председателем.

В машину с ним сел Рустам Ханмагомедов — сел добровольно, потому что был человек не злой, а щёку у него жгло, и ему было стыдно, и ехать было надо.

Машина ушла по Буйнакского, потом по Гамзатова, потом наверх, за город, туда, где над Махачкалой стоит чёрная спина Тарки-Тау и где под её склоном, за кипарисами, светятся окна клиники.

А в Доме Асхабова заседание правления ДАГЛИТа возобновилось в девятнадцать двадцать и завершилось в девятнадцать сорок пять, приняв решение единогласно.

За стеной играла зурна.

Двести человек в большом зале праздновали свадьбу, и это было хорошо, и никто из них не знал, что в этом же доме сегодня хоронили и делили, и никто из сидевших в малом зале не знал, что через пять дней оба зала, и кухня, и кабинет Халика, и таблички на дверях, и список от две тысячи девятнадцатого года, в котором изменений не было, — сгорят дотла за сорок минут.

Глава 6. Шизофрения, как и было сказано

Клиника стояла за городом, у самого подножия Тарки-Тау, в кипарисах, и состояла из двух зданий.

Первое было новое.

Его построили по федеральной программе и открыли в прошлом году: облицовка натуральным камнем, тонированное стекло, автоматические двери, два лифта, крытая колоннада у входа и газон, который поливали в четыре утра, потому что днём вода не доходила. В вестибюле висел большой экран, на котором беззвучно шло видео про здоровый образ жизни, и стоял живой фикус в кадке.

Второе здание было старое. Тысяча девятьсот шестьдесят второго года, четыре этажа, решётки, коричневая краска до половины стены. Оно стояло за новым, и в нём лежали все.

В новом лежали одиннадцать человек на восемьдесят коек.

Мурада Батырова привезли в новое, потому что Мурсалов позвонил.

В приёмном покое — светлом, пахнущем свежим ремонтом и хлоркой — сидела за стойкой женщина в бирюзовом халате и заполняла в компьютере форму, а рядом, на стуле для сопровождающих, сидел поэт Рустам Ханмагомедов и держался за щёку.

— Фамилия, имя, отчество больного.

— Батыров Мурад Шамильевич, — сказал Ханмагомедов.

Женщина подняла голову.

— Как отчество?

— Шамильевич.

Женщина посмотрела на неподвижно сидящего в углу Мурада, потом на монитор, и напечатала.

— Год рождения. Место работы.

— Поэт, — сказал Ханмагомедов.

— Такого нет в списке.

— Ну... член ДАГЛИТа.

— Не работает, — сказала женщина и напечатала. — Кем доставлен?

— Скорой.

— Обстоятельства.

Ханмагомедов открыл рот и закрыл.

— Он, — сказал он наконец, — сегодня вечером в ресторане... сообщил, что смерть председателя правления была предсказана иностранным консультантом. Возбудился. Был с холодным оружием. Сувенирным, — быстро прибавил он. — С бирюзой.

— Ударил кого-нибудь?

— Меня, — сказал Ханмагомедов.

— Заявление писать будете?

— Нет.

— Хорошо, — сказала женщина с одобрением, и в этом одобрении Ханмагомедов вдруг с отвращением расслышал, что его пожалели.

Профессор Даудов вышел в приёмный покой без халата, в рубашке с закатанными рукавами, — маленький, сухой человек лет шестидесяти пяти, с очень внимательными глазами и с той идеально ровной интонацией, которая появляется у врача после тридцати лет работы в этом отделении и уже не выключается нигде, включая собственную кухню.

— Здравствуйте, — сказал он Мураду. — Меня зовут Расул Магомедович.

— Здравствуйте, — сказал Мурад.

— Вы понимаете, где вы находитесь?

— В психушке.

— В республиканской клинике. Вы понимаете, почему вас сюда привезли?

— Потому что я сказал правду, — сказал Мурад.

Даудов сел напротив, не на стул, а на край низкого столика, что почему-то сразу убрало половину напряжения.

— Расскажите, — сказал он.

И Мурад рассказал.

Он рассказал хорошо. Он рассказал последовательно, без единого лишнего слова: бульвар, тархун, пустая аллея, разговор о поэме, иностранец, разные глаза, пудель. Кант. Вопрос о том, кто управляет. Одиннадцать сорок. Аминат, пять литров, вчера. Водитель двадцати трёх лет из Ботлихского района. Утренний звонок про гостя. Ролик. Рынок. Профнастил.

Он говорил минут двенадцать. Ханмагомедов слушал, и щека у него горела всё сильнее, потому что рассказ был убийственно связный.

Даудов не перебивал.

— Хорошо, — сказал он, когда Мурад кончил. — Теперь я задам несколько вопросов, и вы отвечайте как есть, а не как правильно. Договорились?

— Договорились.

— Вы спали в ночь на сегодня?

— Нет.

— Сколько вы спали за последнюю неделю?

Мурад подумал.

— Часа по четыре. Может, по три.

— Что вы ели сегодня?

— Ничего.

— Пили?

— Воду. У мечети дали.

— В море заходили?

— Да.

— Сколько по времени были на солнце босиком?

— Часа четыре, — сказал Мурад. — Может, пять.

— Понятно, — сказал Даудов. — А теперь скажите: что вы хотите, чтобы мы сделали?

— Я хочу, чтобы его нашли, — сказал Мурад. — Он в отеле на Гамзатова. Их четверо. Пусть придут и посмотрят.

— Допустим, — сказал Даудов, — я вас сейчас отпускаю. Прямо сейчас, вот дверь. Куда вы пойдёте?

— В полицию.

— Хорошо. Вы приходите в дежурную часть, ночь, вы мокрый, босой, в сланцах, с папахой, вас уже сегодня один раз с ножом задерживали. Вы говорите: товарищ дежурный, гражданин в сером пальто заранее знал время смерти редактора Курбанова, потому что он присутствовал при пленении имама Шамиля. Что будет дальше?

Мурад молчал.

— Дальше вас привезут сюда, — сказал Даудов. — Только уже во второй корпус и уже без разговоров. Это я вам не угрожаю. Это я вам описываю механизм.

— Значит, надо молчать.

— Пока — да.

— Значит, вы мне не верите.

Даудов посмотрел на него.

— Я вам верю, — сказал он, — в том смысле, в каком это имеет отношение к моей работе. Я верю, что вы это видели. Что вы это слышали. Что вы это помните дословно. У меня нет ни малейших оснований думать, что вы врёте.

— Тогда что?

— Тогда вот что, — сказал Даудов. — Мурад, вы кричали ему?

В приёмном покое стало тихо.

На экране в вестибюле беззвучно бегал по дорожке улыбающийся человек.

— Что? — сказал Мурад.

— Вы бежали к нему через дорогу и кричали. Так?

— Я хотел его предупредить.

— Я знаю, что вы хотели, — сказал Даудов. — Я спрашиваю: он обернулся на ваш крик?

Мурад открыл рот.

Он вдруг обнаружил, что в комнате очень мало воздуха и что кондиционер, оказывается, дует прямо ему в мокрое плечо, и что он мёрзнет с трёх часов дня, а заметил только сейчас.

— Он шагнул назад, — сказал Мурад.

— Да.

— Он шагнул назад, потому что я на него бежал.

— Да, — сказал Даудов.

— Значит, это я.

— Нет, — сказал Даудов очень твёрдо. — Вот тут — нет. Вы попытались спасти человека и попали в ту же секунду, в которую он всё равно попадал. Это не одно и то же, и я вам это объясню столько раз, сколько понадобится, хоть сто. Но я вам это объясню, когда вы поспите. Потому что сейчас вы меня не слышите.

— Я слышу.

— Вы не слышите, — сказал Даудов. — Вы сейчас ищете, кто виноват, и вам гораздо легче, чтобы это был человек в сером пальто, чем чтобы это было масло, песок и стропа. Вам легче, чтобы был замысел. С замыслом можно бороться. Со стропой бороться нельзя.

И вот тут Мурад встал.

Он встал очень спокойно, и Ханмагомедов, знавший его семь лет, впервые понял, что сейчас будет плохо.

— Значит, шизофрения, — сказал Мурад.

— Я вам никакого диагноза не ставил, — сказал Даудов.

— Поставите.

Он повернулся и пошёл — не к двери, потому что у двери стояли двое санитаров, а к окну.

Окно было новое, из тонированного стеклопакета, красивое, во всю стену.

Оно открывалось на пять сантиметров. По нормативу. Ограничитель.

Мурад дёрнул раму раз, другой, потом ударил в неё плечом, потом ещё раз, и стеклопакет спокойно, без всякого выражения, отработал сертификат.

Его взяли сзади, аккуратно и без злобы, как берут люди, которые делают это по десять раз в неделю. Он рванулся один раз и обмяк.

— Двадцать пятая палата, — сказал Даудов. — Нет. Сто семнадцатая.

Уже когда его вели по коридору и когда игла вошла в плечо, Мурад повернул голову, и перед ним качнулись жёлтые круглые глаза, глядевшие на него сверху вниз, с полным знанием всего, — и он совершенно ясно, отчётливее, чем сегодняшний крик на рынке, услышал у самого уха весёлый треснувший голос:

— Шизофрения, дорогой. Как пить дать шизофрения.

Он хотел ответить и уснул.

Ханмагомедов вышел на улицу в двадцать минут третьего ночи.

Такси не было, и он вызвал его, и оно ехало восемнадцать минут, и всё это время он стоял под колоннадой нового корпуса, между камнем и газоном, и слушал цикад.

Ему было плохо.

Ему было плохо не оттого, что ударили по лицу, — это как раз забылось бы к пятнице. Ему было плохо от одной фразы, которую сказал этот мокрый идиот и которую невозможно было выкинуть из головы, потому что она была правдой не наполовину, а целиком.

Он завтра напишет стих на смерть Ахмеда Шапиевича.

Восемь строф.

С рефреном.

Первая строфа уже была. Она пришла сама, часа в четыре дня, между звонком Мурсалову и звонком жене, — пришла легко, как приходили все его строфы, и была ровно такая, какая нужна: с морем, с горами, с оборванной струной пандура и с тем, что мы будем помнить.

И ему за неё дадут место в делегации.

Такси спускалось с Тарки-Тау в город, и город лежал внизу — весь, от порта до Каспийска, длинная светящаяся полоса между чёрной горой и чёрной водой, и в этот час, между тремя и четырьмя, он был почти красив и почти тих.

На привокзальной площади машина встала на светофоре.

Ханмагомедов повернул голову и увидел памятник.

Всадник в бурке и папахе сидел на коне и смотрел мимо него, на восток, туда, где через два часа должно было встать солнце. Махач Дахадаев. Тридцать six лет. Убит в восемнадцатом году, на дороге, своими же — теми, кто через неделю сам не помнил, зачем.

А через пятьдесят три года ему поставили этого коня.

А городу дали его имя.

«Вот, — подумал Ханмагомедов с внезапной, тошнотворной ясностью, — вот пример настоящей удачливости. Что бы он ни сделал и что бы с ним ни случилось — всё пошло ему на пользу, всё обратилось в славу. Его даже убили удачно. А что я сделал? Что я сделал такого, чтобы мне поставили хотя бы табличку?»

И тут же ответил себе честно, чего с ним не случалось никогда: ничего. Я не сделал ничего. Я написал за двенадцать лет двести стихотворений к датам. Они правильные. Они грамотные. Их печатают. Их читают вслух со сцены. Ни одно из них не написано потому, что нельзя было не написать.

«Цвети, мой край, под мирным небом», — вспомнил он свой собственный рефрен, и его чуть не стошнило прямо в такси.

Он попросил остановить на Буйнакского.

В «Урбече» в четыре утра ещё горел свет: доедали свадьбу, домывали большой зал, и от кухни пахло так, как пахнет только там, где всю ночь варили бульон.

Абдулхалик Абдулхаликович сидел за столиком у входа в чёрном пиджаке, застёгнутый, как в шесть вечера, и считал что-то в тетради. Он никогда не спал. Никто не знал, когда он спит.

— Садись, — сказал он, не поднимая головы.

Ханмагомедов сел.

Перед ним поставили хинкал — последний, из ночного котла, самый лучший, — и чашку чая с чабрецом.

— Ешь.

Ханмагомедов взял ложку и вдруг сказал:

— Халик. Скажи честно. Я плохой поэт?

Абдулхалик Абдулхаликович закрыл тетрадь.

Он посмотрел на него длинно, спокойно, тем самым взглядом наиба в галунах, который уже перешёл на службу и ещё не привык.

— Ты хороший человек, — сказал он. — Ешь, остынет.

И Ханмагомедов ел и плакал, а Халик открыл тетрадь и продолжал считать, потому что за двадцать восемь лет в этом подвале он видел и не такое и знал точно, что единственное, что можно сделать для человека в четыре утра, — это накормить его и не смотреть.

Глава 7. Нехорошая квартира

Если бы на следующее утро Сиражутдину Багандову сказали: «Сиро! Тебя расстреляют, если ты сейчас же не встанешь», — он ответил бы слабым, чуть слышным голосом: «Расстреливайте».

Он не то что не мог встать. Ему казалось, что если он откроет глаза, то из головы что-то выльется.

Тем не менее глаза он открыл.

И первая его мысль не была мыслью о смерти, о боли или о том, где он находится.

Первая его мысль была: **кто видел**.

Он лежал одетый, поперёк кровати, в брюках и в одном носке. На тумбочке стоял стакан. В стакане была вода. Рядом лежал телефон.

Сиражутдин Магомедович Багандов, сорока одного года, директор Дворца торжеств «Шамхал», трижды упомянутый в республиканских новостях как «человек, который поднял сферу торжеств на новый уровень», взял телефон и, ещё не понимая, где он и какой сегодня день, начал листать.

Вчера был закрытый банкет. В отдельном кабинете, на восемь человек, по случаю подписания. Пили коньяк. Пил и он, потому что не пить было нельзя, потому что человек, который привёз коньяк, обиделся бы, а обижать его было дороже.

Он пролистал ленту, потом сторис, потом чат. Ничего.

Ни одной фотографии. Ни одного видео. Ни намёка.

И только тут, когда отпустило самое главное, Сиражутдин Магомедович позволил себе почувствовать, что умирает.

Он застонал и повернул голову.

В кресле у окна сидел человек.

Кресло это стояло в спальне всегда, и в нём никогда никто не сидел, потому что оно было куплено для интерьера. Сейчас в нём сидел незнакомый мужчина в дорогом сером пальто — в квартире, при работающем сплите, в пальто — и внимательно смотрел на Багандова.

Багандов моргнул.

Человек не исчез.

— Здравствуйте, любезнейший Сиражутдин Магомедович, — сказал человек негромко. — Вы, я вижу, нездоровы.

Багандов сел. Комната немедленно поехала.

— Вы кто? — спросил он.

— Вы меня не помните, — с сожалением констатировал незнакомец. — Это, конечно, неприятно, но, признаться, ожидаемо.

— Как вы сюда попали?

— Через дверь, — сказал незнакомец. — Как все.

Багандов посмотрел на дверь. Дверь была закрыта на два оборота изнутри, и ключ торчал.

— Хадижат! — крикнул он.

— Хадижат в селе, — отозвался незнакомец. — Вы её отпустили на десять дней. Вы это сделали в среду, в присутствии свидетелей, и очень великодушно с вашей стороны.

Это была правда. Багандов вспомнил, что это правда, и от этого стало ещё хуже.

Он попытался встать и обнаружил, что второй носок лежит на люстре.

— Слушайте, — сказал он, стараясь придать голосу твёрдость, — я вас первый раз вижу.

— И тем не менее, — сказал незнакомец, — вчера в шестнадцать сорок вы подписали со мной договор.

— Какой договор?!

— Курбан! — позвал незнакомец, не поворачивая головы. — Дай ему.

Дверь спальни открылась сама, и вошёл длинный тип в клетчатом пиджаке, в жокейской кепочке, с треснувшим пенсне, и, приплясывая, положил на одеяло папку.

Багандов открыл папку.

Договор был.

Он был на четырёх листах, отпечатан на хорошей бумаге, с реквизитами, с указанием площадки, дат и сумм. Предметом договора значилось: «Организация и проведение семи (7) публичных презентаций региональной программы обеспечения жильём "Свой дом" в помещении Дворца торжеств "Шамхал"».

Внизу стояла его собственная подпись.

Она стояла там так уверенно, с тем самым росчерком, который он отрабатывал два года после назначения, что усомниться в ней было невозможно.

И печать.

Печать была настоящая. Печать лежала у него в сейфе на работе.

— Я не помню, — сказал Багандов очень тихо.

— Ай-яй, — сказал клетчатый сочувственно. — Вот к чему приводит. Один раз с людьми посидишь по-человечески — а наутро государственная программа.

— Какая программа?! Нет никакой программы!

— Как это нет? — Клетчатый вытащил телефон и повернул экраном. — А это что?

На экране была афиша.

Хорошая афиша, сделанная профессионально: фотография новостройки на фоне гор и моря, крупно — **«СВОЙ ДОМ»**, ниже — **«Торжественная церемония вручения сертификатов. Дворец торжеств "Шамхал". Пятница, 19:00. Вход свободный»**.

Афиша была опубликована вчера в двадцать один сорок.

У неё было четыре тысячи двести репостов.

Её репостнула администрация района. Её репостнули шесть пабликов. В комментариях было тысяча девятьсот сообщений, и в первых сорока люди спрашивали, нужна ли прописка, а дальше начиналось то, что начинается всегда.

— Мест нет, — доверительно сообщил клетчатый. — Мест нет со вчерашнего вечера. Приличные люди уже пишут вам в личку.

Багандов открыл свою личку.

В личке было двести тридцать одно непрочитанное. Первое сообщение было от заместителя главы района. Второе — от двоюродного брата. Третье — от женщины, которую он не знал, и в нём было написано: «Сиражутдин Магомедович, я вас умоляю, у меня трое, муж на СВО, я приду с самого утра, только скажите, что нужно».

Он выключил экран.

— Слушайте, — сказал он. — Мне надо позвонить.

— Звоните, — разрешил незнакомец в пальто.

Багандов набрал финдиректора Рамазана Ильясовича. Абонент был вне зоны. Набрал администратора Варисова — сброс. Набрал Мурсалова из ДАГЛИТа, сам не зная зачем, — и Мурсалов взял трубку и сказал:

— Сиро, ты гений. Вот это ты придумал. Тут все стоят на ушах. Мне уже три раза звонили насчёт мест в первом ряду.

— Мурсалов, — сказал Багандов. — Какая программа?

— Ты чего? — сказал Мурсалов после паузы. — Ты ещё не проспался, что ли? Ладно, потом. — И отключился.

Багандов положил телефон и посмотрел на человека в кресле уже другими глазами.

— Кто вы?

— Я специалист, — сказал тот. — Меня пригласили.

В эту секунду в спальню, толкнув дверь плечом, вошёл кот.

Он был чёрный, огромный, размером с крупную собаку, и шёл на задних лапах, а в передних нёс тарелку с чуду и стакан чая, поставленный на неё сверху. Он дошёл до туалетного столика, поставил тарелку, взял чуду, откусил и сказал набитым ртом:

— С творогом. Уважаю.

Багандов очень медленно повернул голову к креслу.

— Не обращайте внимания, — сказал незнакомец. — Он с дороги.

Из коридора шагнул четвёртый — коренастый, рыжий, с клыком, торчащим из угла рта, и с бельмом на левом глазу, — из тех, у кого уши навсегда сложились ещё в спортзале, лет в четырнадцать. От него шёл запах вчерашнего костра.

А за ним в дверном проёме, прислонившись плечом к косяку, встала рыжая девица в красном халате, и по шее у неё, наискось, шёл багровый рубец.

Она посмотрела на Багандова и улыбнулась.

Багандов не подумал ни о чём. Ни о шайтане, ни о том, что он сходит с ума.

Он подумал: **если это увидят соседи, я не отмоюсь никогда**.

— Слушайте, — сказал он и попытался спустить ноги на пол. — Уходите. Пожалуйста. Я не буду никуда заявлять. Просто уйдите. Тут дом... тут люди...

— Дома нет, — сказал незнакомец в пальто.

— Что?

— Дома нет, — повторил он мягко. — Курбан, объясни человеку.

Клетчатый уселся на подоконник, свесил длинные ноги и заговорил лекторским тоном:

— Жилой комплекс «Каспийские зори», улица Урадинского, тринадцать этажей. Сдан в двадцать первом году. Прокуратура — иск. Суд — экспертиза. Экспертиза — нарушения. Решение суда от девятого июня сего года: с седьмого по тринадцатый этаж признать самовольной постройкой и снести за счёт застройщика.

Он ласково посмотрел на Багандова.

— Вы, дорогой Сиражутдин Магомедович, живёте на двенадцатом.

Багандов молчал.

— То есть вы, — продолжал клетчатый с наслаждением, — юридически находитесь в помещении, которого не существует. Вы платите ипотеку за воздух. Вы прописаны в воздухе. Вы сейчас сидите на воздухе в одном носке. И заметьте, я не сказал ни одного неправдивого слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.